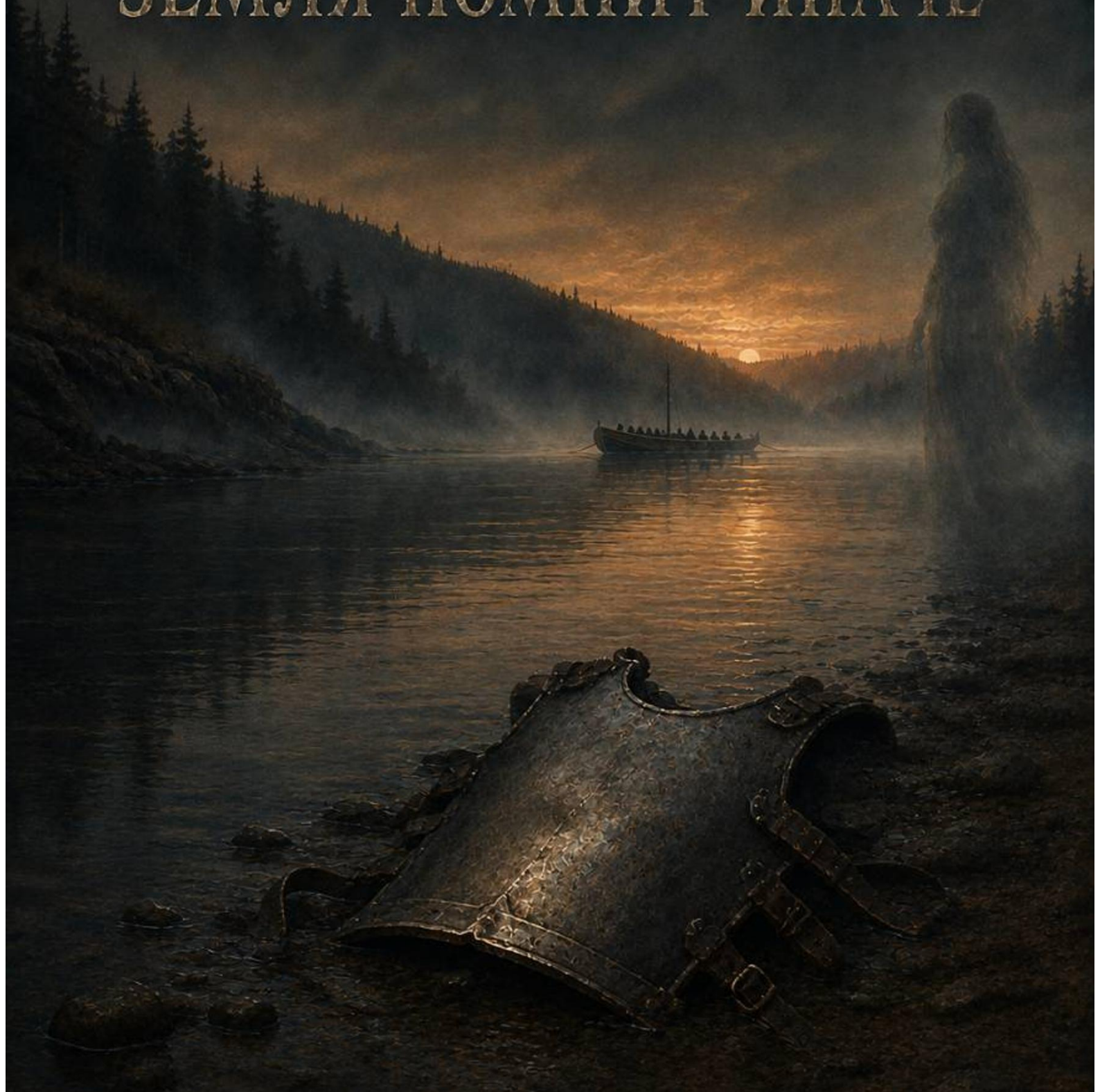


ЕРМАК.

ЗЕМЛЯ ПОМНИТ ИНАЧЕ



РОМАН О ПОКОРЕНИИ СИБИРИ

В. ВОКС

Виктор Вокс

Ермак. Земля помнит иначе

«Автор»

2026

Вокс В.

Ермак. Земля помнит иначе / В. Вокс — «Автор», 2026

1581 год. За Урал идёт ватага беглых казаков — не воевать за веру и не по царской воле, а взять то, что плохо лежит на земле, которую в Москве даже не могут отыскать на карте. Ведёт их немногословный атаман, которому нечего терять, кроме самой жизни, — человек по имени Ермак. Рядом с ним — хантыйский промысловик Ванхо, который сам не решил, кто он в этой войне: проводник, союзник или просто человек, не захотевший бежать. Против них — хан Кучум, чья власть держится не на праве, а на убедительности, которую нужно доказывать заново каждый день. Земля, на которую они пришли без спросу, ведёт свой счёт по-своему — туманом на перевале, тенью у брода, женщиной на границе яви и сна, чьё присутствие в этой истории так и останется неразгаданным. Шестидесят шесть лет спустя старик расскажет эту историю чужому писцу — слово за словом, так, как она дошла до него. Потому что, как скажет он сам напоследок: Историю помнят люди. Земля помнит иначе.

© Вокс В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	20
-----------------------------------	----

Виктор Вокс

Ермак. Земля помнит иначе

ЗЕМЛЯ ПОМНИТ ИНАЧЕ

Роман о походе Ермака

ПРОЛОГ

Степь в тот год стояла сухая, и пыль от копыт долго не оседала — шла за отрядом, как хвост, отставая только к вечеру, когда спадал ветер.

Ульян Ремезов ехал третий день по калмыцким кочевьям, не слезая с седла дольше, чем требовала нужда, и уже перестал считать урочища, у которых их встречали конные дозоры — сперва настороженные, потом, завидев царские дары на выючных лошадях, почтительные. Стрельцов при нём было немного: два десятка, отобранных не за удаль, а за то, что умели молчать и не хвататься за саблю там, где хватало слова. Дело было не воинское. Дело было — довести.

Довести панцирь.

Его нашли минувшей осенью в тобольских амбарах, среди прочего рухла¹, отбитого у татар ещё при взятии города, — панцирь тонкой работы, с медными пряжками, потемневший так, что не всякий бы признал в нем доспех атамана, о котором в Сибири уже шестьдесят шесть лет складывали разное. Воевода долго думал, кому такую вещь отдать, и остановился на калмыцком тайше² Аблае — не по щедрости, а по расчёту: тайша давно просил дружбы с Тобольском, а дружба, как известно, крепче всего держится на подарке, который другому дорог больше, чем дарителю.

Ульян этого расчета не одобрял и не осуждал — он был человек служилый, и его дело было исполнять, а не оценивать.

Ставка Аблая открылась на третий день пути — не крепость, не город, а войлочный посёлок, раскинутый по низкому берегу безымянной здесь речки, с дымами, что стояли прямо в безветренном воздухе, будто вбитые в него колья. Ульяна встретили загодя, версты за две, и повели через становище³ в обход, мимо табунов, мимо женщин, глядевших из-за плечей мужей без страха и без особого любопытства — как смотрят на привычный осенний дождь.

Юрта Аблая была больше прочих, но не убранством — размером. Внутри пахло дымом, кислым молоком и ещё чем-то, чему Ульян не сразу подобрал слово, — старой кожей, может быть, или тем особым духом, что стоит в жилище человека, прошедшего в седле всю жизнь.

Аблаи оказался не стар и не молод — из тех лет, когда лицо уже не меняется десятилетиями. Он сидел на войлоке, а не на возвышении, — это Ульян отметил сразу, потому что от степного владыки такого не ждал.

Начали, как положено: дары, поклоны, слова о здоровье царя и здоровье тайши, о дороге, о погоде. Толмач⁴ переводил ровно, без запинки, и Ульян, слушая себя со стороны, думал, что вся эта речь могла бы длиться до вечера, если бы не сделать того, ради чего проделан весь путь.

Он подал знак. Стрелец внёс свёрток, положил перед Аблаем, развернул.

Панцирь лёг на войлок тускло, без блеска, — металл, побывавший в земле и в воде, блеска не помнит.

¹ Старинное название имущества, вещей, пожитков.

² Титул степного правителя или знатного предводителя.

³ Место временной стоянки кочевого или полукочевого поселения.

⁴ Переводчик.

Аблай не дождал ни толмача, ни новых слов. Всё, что до того держало разговор в русле обычая, вдруг куда-то ушло — он сам подался вперёд, взял панцирь в руки резче, чем позволяло достоинство хозяина, поднял его перед собой, и в юрте на мгновение стало так тихо, что Ульян услышал, как потрескивает огонь в очаге.

— Вот он, — сказал Аблай не толмачу, не свите — самому себе, кажется. И тут же, без перехода, глядя уже прямо на Ульяна: — Знаешь ли ты, русский, где лежит ваш Ермак?

Толмач замешкался было, но Ульян понял и без него.

Он ответил не сразу: ответ этот стыдно было произносить вслух перед человеком чужой веры, который спрашивал так, будто спрашивал о родном отце.

— Не ведаем, — сказал он наконец. — Ни как погребён, ни как скончался доподлинно. Много сказывают — да порознь.

Он ждал, что Аблай усмехнётся — не всякий властитель упустит случай почувствовать себя выше того, кто признался в незнании. Но тайша не усмехнулся. Он опустил панцирь на колени, провёл по пластинам ладонью, медленно, как гладят не вещь — зверя.

— А я знаю, — сказал он.

И столько было в этих двух словах — не гордости, не превосходства, а чего-то похожего на давнюю, отболевшую печаль, — что Ульян, служилый человек, повидавший на своём веку послов, воевод и разбойных атаманов, вдруг ощутил, как в груди у него шевельнулось что-то, чему не было названия ни в приказных грамотах, ни в церковных книгах.

— Расскажи, — попросил он, отступая от протокола так же, как минуту назад отступил от него хозяин юрты. — Как знаешь — так и Расскажи.

Аблай долго молчал, глядя не на гостя, а куда-то мимо него — то ли в огонь, то ли в те шестьдесят шесть лет, что легли между этим вечером и вечером на далёкой сибирской реке.

— Это не моя история, — сказал он наконец. — Мне её, в своё время, старики рассказывали. Что в ней правда, а что домыслено за годы — не скажу, не берусь. Но я скажу тебе то, что знаю, — всё, как дошло до меня, слово за словом, — и ты запишешь, потому что твой народ не помнит, а мой не забыл.

Он подал знак — служанка внесла плошку с горячим питьём, но ни он, ни Ульян к ней не притронулись.

— Слушай, — сказал Аблай. — Начну не с реки, где он умер, а с той земли, откуда он вышел живым. Потому что человека нельзя понять по его смерти. Его можно понять только по тому, куда он шёл и что нёс с собою, когда шёл.

За стенами юрты табуны месили пыль, и ветер, потянул слабо — с запада, оттуда, где лежал Урал, а за ним — земли, которых Аблай никогда не видел своими глазами, но знал так, будто прожил там всю жизнь.

Ульян достал бумагу и перо. Свет в юрте был скудный, огонь и одна плошка масла, и он пожалел, что не взял с собою второго писца, — но отступать было поздно.

— Пиши, — сказал Аблай. — Первое, что мне рассказали старики: в год, когда царь московский воевал на закате солнца с ливонцами и не мог обернуться на восход, на пермской земле, у соляных амбаров Строгановых, снаряжали в поход людей, которых сама Русь считала пропащими...

Ульян обмакнул перо.

И начал писать.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОРОГ

Глава первая

Ворота были ещё закрыты, когда со стороны Камы донёлся гулкий, протяжный рёв — варница⁵ выпускала пар, как выпускает его загнанный зверь, — и следом крик:

— Гонец! От Чусовских городков гонец!

Стражник у ворот не успел толком проснуться, а верховой уже влетел во двор, обдав его комьями подсохшей за ночь глины, осадил коня у самой приказной избы и спрыгнул на землю раньше, чем тот остановился. Из открытых дверей варницы вслед ему белым облаком выбило соляную пыль — работник, не удержав ведра, рассыпал полную меру по утоптанному двору, и соль легла на сухую землю неровной, быстро темнеющей от росы полосой.

Максим Яковлевич Строганов уже стоял на крыльце. Он не спешил — за долгие годы приучил себя не спешить ни при каких вестях, хороших или дурных, — но глаза у него были цепкие, и он успел заметить и рассыпанную соль, и то, как гонец на ходу шарит за пазухой в поисках грамоты.

Это был Орёл-городок — крепость по названию, не по сути. С частокола было видно версты на три в обе стороны, вверх по реке и вниз, и этим, пожалуй, единственным, он мог похвастать перед проезжим человеком. Стены рубленые, невысокие, амбары да соляные варницы занимали земли больше, чем ратный двор. Дым над городком стоял не пороховой — солёный, едкий, от вываренной рапы⁶. Такой дым въедается в одежду намертво. Отмыть его после — дело банного пара и не одного дня.

Здесь торговали. Здесь варили соль и считали пушнину. И здесь же, у соляных амбаров, третью неделю подряд шумел казачий стан — люди, которых Русь давно записала в пропащие, а Строгановы, не спросясь у Руси, взяли на своё жалованье.

Строганов принял грамоту, пробежал глазами — ещё один зимовский острожек⁷ на Чусовой пожгли татарские людишки, ещё десяток дворов по миру пошли, — свернул её обратно коротким, привычным движением человека, для которого дурные вести давно стали такой же частью дела, как хорошие, и повернулся к приказчику⁸, стоявшему поодаль.

— Атаман твой ещё не встал? — спросил он у приказчика, не оборачиваясь.

— Встал, Максим Яковлевич. С зари на реке.

— На реке... Дело ли — реку разглядывать, когда людей кормить нечем?

Приказчик промолчал. Он давно понял: такие вопросы Строганов задаёт не ему.

Ермак и вправду был на реке с зари. Не молился, не мылся — стоял и смотрел, как туман поднимается с воды и тает над обрывистым берегом, будто кто-то невидимый снимал с реки покрывало и уносил прочь. Человек он был немолодой — сорок ли, сорок пять ли лет, точно не считал и сам, — плечистый, коротко стриженный по-казачьи, с лицом, на котором степное солнце и волжский ветер оставили борозд больше, чем оставляют годы.

О том, откуда он родом, в стане говорили разное. Одни звали его волжанином. Другие — вычегодским. Третьи божились, что помнят его донским атаманом, что бил персидские караваны и бежит теперь от царского гнева на восток, а не от одной лишь бедности. Сам Ермак на такие расспросы не отвечал никогда. С годами его немота стала для казаков привычнее любого ответа. Спрашивать перестали. Придумывать — нет.

К реке подошёл Иван Кольцо — легко, вразвалку, как ходят люди, для которых любая земля под ногами давно стала одинаково чужой и одинаково своей.

— Максим Яковлевич кличет. Опять, поди, торговаться будет — сколько порошу даст, сколько пожалеет.

⁵ Место, где из рассола вываривали соль.

⁶ Сильно насыщенный солью природный рассол.

⁷ Небольшое укреплённое поселение, служившее зимним опорным пунктом.

⁸ Управляющий хозяйством или делами владельца.

— Даст сколько нужно, — сказал Ермак, не оборачиваясь. — Ему прибыль нужен не меньше нашего.

— Прибыток-то нужен. А вот нужны ли мы ему живыми после того, как он этот прибыль возьмёт, — вопрос особый.

Ермак усмехнулся одними губами.

— Ты, Иван, о том не первый год думаешь.

— А как не думать. Меня в Москве за прежние дела не помилуют — с воеводской грамотой ли, без неё. Мне назад дороги нет. Я только вперёд умею. А тебе?

Ермак не ответил. Смотрел, как последняя полоса тумана сходит с воды у берега, оголяя тёмную, холодную рябь. Позади этой реки лежала земля, которую он знал наизусть, до последней излучины. Впереди — та, о которой не знал он ничего, кроме слухов о хане, что сидит на ней уже без малого двадцать лет и дани платить перестал.

— Пойдём, — сказал он наконец. — Максим Яковлевич ждать не любит.

В приказной избе пахло воском и пылью пергамента. Максим Строганов сидел за столом, заваленным грамотами, и рядом с ним — двоюродный брат Никита, помоложе, порезче нравом; тот в последние месяцы куда охотнее говорил о войске, чем о соли.

— Садись, атаман. Разговор долгий будет, а ты человек занятой.

Ермак сел. Иван остался у двери — привычка, а не забывчивость: слушать такие разговоры со стороны, оставляя себе путь для быстрого слова, если понадобится.

— Хан сибирский, — начал Максим без предисловий, — Кучум, дани нам не платит третий год. Городки жжёт, промыслы разоряет. Государю били челом⁹ не единожды — просили рать¹⁰. Государь Ливонией занят, войском поступиться не может. А земля горит.

— Слыхал.

— А чего не слышал — послушай, — вступил Никита. — Дадим тебе хлеб, порох, свинец, струги¹¹. Дадим людей сверх твоих, у кого своё оружие есть. А ты пойдёшь и возьмёшь у Кучума то, что он у нас забрал. Покой.

— И что мне за то, кроме пороха с хлебом?

Максим и Никита переглянулись. Не потому, что вопрос был неожиданным. Ответить честно значило признать вслух то, о чём с казаками говорить не любили.

— Государева грамота — тем, кто уцелеет и вернётся с честью, — сказал наконец Максим. — Прощение прежних вин. Земля, коли ляжет под руку царёву, — тоже не пустой звук.

— А коли не уцелеем? — спросил из угла Иван, не сдержавшись.

Никита посмотрел на него тем же прищуром, каким смотрел на счётные книги, где не сходились цифры.

— Тогда, казак, некому будет спрашивать.

В избе стало тихо. Ермак молчал долго — так долго, что Максим начал уже подбирать слова, чтобы поторопить ответ. Атаман заговорил сам.

— Люди у меня разные. Кто за прощением пойдёт. Кто за добычей. Кто — оттого что бежать больше некуда. Поведу и тех, и других: моё дело весть, а не спрашивать, зачем человек за мной пошёл. Но тебе, Максим Яковлевич, скажу как есть. — Он помолчал, будто сам ещё подбирал слово, которого прежде не искал вслух. — Земля та не пустая, сдаётся мне. Не чистое поле. Там люди живут, хан правит. И то ли боги у тех людей свои, то ли просто я чужого боюсь больше своего — не разберу пока. Ты меня посылаешь как хозяин работника посылает. А я иду как в дом, где не бывал ни разу, — и не знаю, кто встретит на пороге.

⁹ Обращались с просьбой или прошением к государю либо начальству.

¹⁰ Войско, военная сила.

¹¹ Большие деревянные плоскодонные речные лодки.

Максим чуть заметно улыбнулся. Не насмешливо — с уважением, какого не ждал от атамана наёмной вольницы.

— Оттого и зову тебя, а не иного. Иной пойдёт не думая. А ты, сдаётся мне, думать умеешь.

— Умею. И потому прошу срок — до осени. Людей собрать надобно, оружие проверить, струги оснастить. К зиме на воде делать нечего. А раньше срока в чужую землю соваться — дурь, не отвага.

— Срок даю. Но помни, атаман: чем дольше на нашем берегу стоишь, тем дороже нам твоё войско обходится.

— Помню.

Ермак вышел, поклонившись ровно настолько, чтобы никто не сказал потом, будто атаман забыл своё место, — и чтобы никто не сказал, что он его помнил чрезмерно.

На дворе Иван нагнал его у коновязи.

— Земля та не пустая. Красиво сказал, атаман. Строганов теперь всю ночь думать будет, кого он в поход снарядил — казаков или монахов.

— Не красиво. Правду. Ты ведать меня слушал вполуха, Иван, а зря. Не первый год по чужим землям хожу — одно знаю твёрдо: кто идёт в чужой дом без страха, тот либо дурак, либо покойник наперёд срока. Хочу, чтобы ты боялся. Не Строгановых. Не хана. Той земли, куда идём. Тогда, может, и уцелеешь.

Иван посмотрел на него внимательно — впервые за то утро без обычной полуулыбки.

— Ты сам-то боишься, атаман?

Ермак не ответил сразу. Глядел мимо Ивана — туда, где за частоколом, за амбарами, за последними избами городка начинался лес, тёмный даже в полуденном свете, тянувшийся, как говорили, без конца и края до самого Урала и дальше.

— Боюсь, — сказал он. — Оттого и жив до сих пор.

Иван промолчал — и в этом молчании было то особое согласие, какое даётся только годами, проведёнными бок о бок: они шли вместе не первый поход и не первую войну, и Иван помнил ещё те времена, когда Ермак носил чужое, наёмное имя и был просто одним из есаулов¹² в чужой ватаге, — помнил и то, как однажды на Волге Ермак вытащил его самого из полыньи, не сказав потом об этом никому, будто спасение это было делом таким же обыденным, как починка весла. Иван никогда не благодарил его за то спасение вслух — просто с тех пор шёл туда, куда шёл сам Ермак, не спрашивая больше, отчего да зачем.

Глава вторая

К концу лета казачий стан у Орла-городка разросся так, что варничным рабочим стало тесно на своём же берегу. Прибывали ватагами — с Волги, с Дона и с Яика. Ермак принимал не всех. У кого не было оружия своего, лошади, хотя бы крепких сапог — того отправлял назад без долгих разговоров. Такой человек в чужой земле не воин. Лишний рот. Лишняя могила.

Порядок держали не строже монастырского, но держали. С зари до полудня чистили пищали, правили сабли, вязали связки для стругов. После полудня — учение, стрельба по вешкам, конная рубка для тех немногих, у кого была лошадь. Вечером — костры, каша, разговоры, в которых хвастовства было больше, чем правды, а страха — больше, чем хвастовства, только сказанного так, чтобы страхом его никто не признал.

В один из таких дней к казачьим кострам неожиданно для многих вышел сам Максим Строганов — без свиты, в простом кафтане, будто хозяин, решивший поглядеть на амбар, а не важный гость, снизошедший до своих наёмников. Ермака он нашёл не сразу — тот в это время

¹² Казачий военный чин и должность помощника атамана.

учил молодых казаков держать строй при зарядании пищали, — и, дождавшись перерыва, подошёл сам, не посылая приказчика звать атамана к себе.

— Пришёл поглядеть, на что трачу, — сказал он без обиняков, оглядывая составленные в козлы пищали. — Люди твои едят исправно, оружие в порядке держат — уже не зря деньги идут, вижу.

— Хочешь — сочти сам, — сказал Ермак, не переставая наблюдать за учением. — Хлеб мой людьми считан, порох — тобой самим.

Строганов усмехнулся — коротко, по-деловому, но не без тепла.

— Считал уже. Оттого и пришёл — не с проверкой, с вопросом. Ты вправду веришь, что дойдёшь?

Ермак ответил не сразу — смотрел, как один из молодых казаков, оступившись, роняет шомпол¹³, и лишь когда тот, подобрав его, возвратился в строй, повернулся к Строганову.

— Верю не в то, что дойду, — сказал он. — Верю, что идти надо. А дойдёт ли кто из нас до конца — дело другое, и не мне одному решать.

Максим кивнул — не как купец, довольный ответом, а как человек, которому этот ответ дал больше, чем он рассчитывал получить, — и, не задерживаясь дольше нужного, ушёл обратно в город, оставив Ермака заканчивать учение.

Случались вечера и попроще. Однажды двое молодых казаков заспорили от скуки, не всерьёз, — кто из них двоих надоел дружине сильнее прочих своими байками, и спор этот, начавшись со смеха, кончился тем, что оба, так и не решив дела, взялись латать один и тот же прохудившийся сапог, перебрасываясь шпильками уже не про байки — про то, кто из них хуже держит иглу. У соседнего костра кто-то не выдержал, крикнул им замолчать и дать поспать честным людям, — и оба, не сговариваясь, замолчали на полуслове, отчего у того костра, где сидел крикун, засмеялись громче всех остальных вместе взятых.

Богдан Брязга, кряжистый, немолодой уже казак, что бил ещё персов на низовьях Волги, в один из таких вечеров рассказывал у костра — не в первый раз, но всякий раз чуть иначе, — как ему привиделся сон.

— Будто иду я берегом. А берег не наш, чужой, песок на нём чёрный, как сажа. Иду, иду — а следов за собой не оставляю. Гляжу назад — песок чист, будто никто по нему и не ходил. И тут вода со мной заговорила.

— Вода? — переспросил кто-то из молодых, не сдержав усмешки.

— Вода. Не словами человеческими. А так, что понял я: не время тебе ещё, казак, здесь ходить. Погоди срок.

— И что — годишь? — Иван Кольцо подсел к костру позже прочих.

— Год ли, два ли. Да не своей волей жду. Ты смеёшься, Иван, а мне мать покойная сказывала: сон у воды — не пустое дело. Вода много помнит, даже то, чего человек и не видал.

— Вода течёт себе и течёт, — сказал Иван, не смеясь, только качая головой. — Не она помнит. Люди помнят. Оттого и сказки такие складывают.

— Вот в Сибирь пойдём — там увидим, чья правда, — вставил кто-то третий, помоложе.

Разговор этот слышал Ермак. Сидел в стороне, у своего костра, не подходил ближе, но и вида не делал, что не слышит. Он давно приметил: чем ближе срок похода, тем чаще у костров говорят о снах, о приметах, о реках, что будто бы помнят и знают больше человека. На Волге, на Дону такие разговоры были редки — там всё привычно, обжито, своя река, знакомая, спорить с ней незачем. Здесь, на пороге чужой земли, даже бывалый казак вдруг вспоминал бабкины сказки, в которые сам не верил смолodu.

¹³ Стержень для зарядания и чистки огнестрельного оружия.

Он их не судил. Он и сам, стоя поутру на берегу, ловил себя на мысли, что туман над Камой в это лето поднимается иначе, чем в прошлые годы, — гуще, дольше держится над водой. Мысль пустая, ничем не подтверждённая. Весь день не шла из головы.

Позже, когда костры прогорели и стан затих, Ермак прошёл к воде один. Ночь стояла безлунная, но не тёмная: небо на севере, куда лежал их будущий путь, светилось слабым зеленоватым отсветом — так светится оно только в редкие ясные ночи короткого северного лета. Он смотрел долго. Не пытался объяснить — ни по-церковному, ни по-бабьи. Просто смотрел, как смотрел бы на всякое явление, увиденное впервые, которое не берётся судить.

Река у берега шла тихо, без плеска. И всё же на миг почудилось: течение под самым берегом идёт не вниз, к Волге, — вверх. Туда, откуда завтра-послезавтра предстояло выступить дружине. Моргнул, тряхнул головой. Течение шло как шло, вниз, как ему и положено.

Он усмехнулся сам себе — коротко, невесело — и пошёл спать. Унёс с собой то же самое чувство, какое весь вечер носили в себе казаки у костра: земля, к которой они идут, уже сейчас, издалека, помнит об их приходе. Не знает — помнит, будто ждала давно, дольше, чем сама эта дружина существует на свете.

Глава третья

Последний день перед выступлением выдался ясным. Такая ясность бывает в конце лета, когда воздух уже пахнет остывающей землёй, а не летним зноем, и свет стоит невысоко, наискось, золотя частокол и амбарные крыши так, что городок на миг делается красивее, чем был весь год.

С утра отслужили молебен. В маленькой городковой церкви не хватило места и на четверть дружины — большая часть казаков стояла снаружи, у раскрытых дверей, крестясь на голос священника, доносившийся изнутри вместе с запахом ладана. Ермак стоял у самого порога. Не торопился — не любил тесноты и чужих плеч, когда молился по-настоящему.

После молебна, уже на берегу, где грузили последние струги, случилось то, чего ни один летописец не записал бы отдельной строкой. Для казаков это было дело такое же привычное, как проверить, крепко ли увязан порох.

Иван Кольцо первым наклонился, взял горсть земли с того места, где стоял его костёр все эти недели, и молча ссыпал её в холщовый мешочек на груди, рядом с медным крестом. За ним, не сговариваясь, потянулись другие. Кто сжимал горсть в кулаке, растирая между пальцами, — прощался так. Кто заворачивал в тряпицу. Кто, помолвившись, ссыпал землю обратно, но уже иначе — медленно, глядя, как она осыпается меж пальцев, будто хотел запомнить, как это выглядит, на случай если больше не увидит.

Ермак сделал то же, что все. Присел у своего костра, взял в ладонь холодную, отсыревшую к вечеру землю, подержал недолго — и ссыпал обратно.

— Не берёшь с собой? — подошедший Иван кивнул на пустые руки атамана.

— Земля эта не моя. Я на ней гость был, как на всякой другой. Брать с собой чужое в дорогу — плохая примета. Хуже твоих снов у костра.

— А своя земля у тебя где, атаман?

Ермак не ответил. Посмотрел на реку — туда, где уже покачивались на воде гружёные струги.

Максим и Никита Строгановы вышли проводить дружину к самому берегу. Не из большой любви — по расчёту: провожал хозяин, значит, дело хозяйское, не разбойное. В глазах немногих оставшихся в городке это стоило дороже любой грамоты.

— С Богом, атаман.

— С Богом, — ответил Ермак и повернулся к своим людям.

Долгих речей он не говорил — не умел, да и не стал бы в этот час, когда каждый и без того знал, зачем встанёт в струг. Обвёл дружину взглядом — восемь с лишним сотен лиц, знакомых

и не очень, испуганных и весёлых, набожных и таких, что креста не носили вовсе. Сказал немногое.

— Земля, куда мы идём, старше нас всех. Старше хана ихнего. Старше царя нашего. Старше самого Ростова-Великого. Хозяевами нам там не стать. Так хоть ходите по ней с уважением, кто как умеет. В струги.

Первого сентября, когда солнце ещё не поднялось высоко, а туман над Камой только начинал редеть, флотилия Ермака Тимофеевича отвалила от берега и двинулась вверх по реке — к притокам, что вели к волоку¹⁴ через Каменный Пояс. Туда, откуда для восьми с лишним сотен человек назад дороги уже не будет. Что бы кто из них ни думал в это ясное, тихое утро.

Богдан Брязга, сидевший на вёслах в одном из задних стругов, обернулся напоследок на удаляющийся берег. Проговорил тихо, в бороду, не сказавшись никому, — то, что говорил себе каждое утро с той самой ночи.

— Не время нам, может, ещё. Да поздно уже годить.

Никто его не услышал, кроме воды под веслом. А вода, как известно всякому, кто вырос у большой реки, не отвечает никогда. Она течёт. И помнит — если Богдан не солгал в ту ночь у костра. Помнит куда как дольше, чем говорит.

Кама поначалу шла привычно – знакомая вода, те же плёсы, что казаки видели по дороге в Орёл-городок месяцем раньше. Грести против течения оказалось тяжелее, чем спускаться вниз налегке, и уже на вторые сутки не один из молодых казаков стёр ладони в кровь, стараясь не подавать виду.

У устья Чусовой вода переменялась – берег сузился, лес подступил ближе, ели встали стеной там, где раньше тянулись луга и редкие покосы. Дальше пошли Чусовские городки – последние жилые места на многие вёрсты вперёд, дальние заимки Строгановых, где хлеб пекли уже реже, а на проходящие струги смотрели дольше обычного – так смотрят вслед гостю, чьё имя ещё не разобрали.

Глава четвёртая

Струги оставили на последнем плёсе — дальше вода мельчала, камень выступал со дна острыми, обкатанными временем горбами, и Ермак велел вытаскивать лодки на берег раньше, чем кто-либо успел напороться.

Волок начался на четвёртый день пути от Чусовских городков и обещал быть долгим. Люди впрягались по восемь-десять на струг, тянули по бревенчатым каткам, уложенным заранее теми, кого Строгановы посылали вперёд ещё по весне; там, где катков не хватало, рубили новые на месте, и звон топоров с утра до ночи не смолкал в распадке между двумя горбами хребта.

Урал не был высок — не Кавказ, не альпийские кручи, о которых сказывали заезжие немцы. Но что-то в нём было такое, отчего даже бывалые казаки, немало исходившие степей и предгорий, здесь замолкали чаще обычного. Может, дело было в тумане, что не сходил с распадков даже в полдень. Может — в тишине, стоявшей между ударами топора так плотно, что после третьего удара она, казалось, наваливалась обратно тяжелее прежней.

— Здесь эхо неправильное, — сказал вполголоса один из молодых казаков, тащивший канат рядом с Иваном Кольцо. — Крикнешь — оно не сразу, а погода откликается. И не тем голосом.

— Скалы такие, — отозвался Иван, не оборачиваясь. — Голос от камня к камню бежит, вот и путается.

— А то, что откликается тише, чем крикнул? Голос-то громкий был, а обратно — шёпотом почти.

¹⁴ Сухопутный путь, по которому суда перетаскивали из одной реки в другую.

Иван промолчал. Он и сам это заметил ещё вчера, но признавать вслух не собирался: не страх — просто нежелание давать чужому страху пищу раньше срока.

Ермак шёл не в голове колонны и не в хвосте — посередине, там, откуда было видно и передних, тянувших первый струг, и задних, что ещё возились с катками у подножия. Он не понукал. Смотрел, слушал, иногда подставлял плечо там, где верёвка резала особенно сильно чьи-то непривычные к такой работе руки.

К вечеру третьего дня на перевале туман встал стеной — не полосами, как у реки, а сплошной, ровной завесой, в которой пропадали и деревья в десяти шагах, и голоса людей, будто их глушили войлоком. Работу пришлось остановить раньше срока. Костры разводили с трудом: сырой мох не желал заниматься, и дым от него стелился по земле, не поднимаясь, смешиваясь с туманом так, что не разобрать было уже, где кончается одно и начинается другое.

Ермак отошёл от стана — недалеко, шагов на полсотни, туда, где начинался спуск в соседний распадок и где, по слухам передовых, был родник. Отправился не за водой — котелок остался у костра, — просто хотел пройтись, размять плечи, занемевшие от верёвки за целый день.

Туман здесь был гуще, чем у стана. Он не расступался перед человеком, как расступается обычный туман, — плыл вокруг, смыкаясь за спиной так плотно, что, обернувшись, Ермак на миг не увидел даже отсветов костров, которые должны были быть в полусотне шагов позади.

Он остановился. Прислушался. Топоров не было слышно, голосов — тоже. Только капель где-то впереди, мерная, редкая, и вместе с ней — запах сырой земли и мокрого камня, густой, почти сладковатый, какой бывает только у самого истока.

Он присел на плоский, холодный камень у края тумана, зачерпнул пригоршню воды, коснулся лица — вода была ледяная, тайная, будто и не касалось её солнце ни разу за всё лето. Умывшись, он остался сидеть, слушая, как капля падает снова, потом ещё раз, с тем же ровным, безразличным ко всему промежутком. Птиц не было слышно — ни здесь, ни у стана, ни всю дорогу от последнего перевала, — и это он отметил только сейчас, будто мысль эта дожидалась своей очереди где-то на краю сознания, чтобы прийти именно в эту минуту тишины.

Он поднялся, чтобы идти назад, — и тогда увидел её.

Не сразу понял, что видит человека, а не игру тумана: серая фигура среди серого, без чётких краёв, стояла у самого родника — там, где земля темнела от воды. Женщина. В этом сомнений не было, хотя лица он не разглядел — туман застилал его так же, как застилал всё вокруг, будто и лицо было соткано из того же вещества, что и воздух между ними.

— Кто здесь? — спросил Ермак, и голос его прозвучал глухо, без обычного эха, каким полнился весь этот распадок.

Она не ответила. Не двинулась с места — но и не растворилась, как растворяется обманчивый узор тумана, если долго в него всматриваться. Стояла, будто ждала чего-то — не от него, показалось Ермаку, а вообще, как ждут исхода дела, начатого задолго до этого вечера.

Он сделал шаг вперёд. Туман качнулся, будто пропуская его, — и в тот же миг за спиной раздался знакомый голос, окликавший его по имени: Иван, обеспокоенный долгим отсутствием атамана, шёл следом с факелом.

Ермак обернулся на голос — на один короткий вдох, не больше.

Когда обернулся обратно, у родника никого не было. Туман стоял так же плотно, как минуту назад, и капель по-прежнему падала мерно, редко, будто ничего не произошло вовсе.

— Атаман! Ты чего в туман забрёл? — Иван поднял факел повыше, оглядываясь. — Заплутать здесь — плёвое дело.

— Ничего, — сказал Ермак. — Показалось.

Он не стал объяснять, что именно показалось. Не потому, что стыдился — просто не нашёл слов, которые не звучали бы глупее самого случая. Пошли назад к стану вместе, и по дороге Ермак пару раз обернулся — не заметить, ушла ли она, а проверить, стоит ли ещё

вообще тот родник там, где он его оставил, или туман сыграл с ним шутку похуже, чем просто спрятал женщину в серой хмари.

Ночью ему не спалось. Он лежал у костра, слушая, как потрескивают сырые ветки, и думал не о ней — ни лица, ни манеры не запомнил настолько, чтобы думать именно о ней, — а о дыме, что поднимался сейчас над углями теми же неровными, клубящимися полосами, какими стоял вечером туман у родника, будто одно перетекало в другое и не было между ними никакой границы, кроме той, что человек проводит сам, по привычке отличать явь от морока.

Наутро, когда собирали лагерь и вязали новые связки на катки, Ермак на минуту задержался у края стана — там, откуда накануне уходил к роднику, — и просто посмотрел в ту сторону. Не пошёл. Тумана уже не было, только сырая тропа между камней, по которой могли пройти двое, а могло не пройти никого, — и он, ничего не сказав, вернулся к дружине, где Иван уже покрикивал на замешкавшихся с погрузкой стругов.

Глава пятая

Утром туман сошёл, и работа возобновилась с прежним упорством — но не с прежним духом. Ермак это почувствовал сразу, хотя никто из казаков ни словом не обмолвился о ночных страхах: слишком многие плохо спали, слишком многие вздрагивали от треска сучьев под чужими сапогами.

Струги тянули к последнему перевалу — оттуда начинался спуск, более пологий, чем подъём, но не менее опасный: катки на спуске норовили вырваться из-под бревна и покатиться сами, набирая ход, а следом за ними — мог сорваться и весь струг, если не удержать верёвку вовремя.

Это и случилось к полудню.

Струг, который тянула ватага человек в двенадцать, зацепился днищем за выступ скалы — незаметный под слоем прошлогодней хвои, — качнулся, и передний каток вылетел из-под него с той внезапностью, с какой распрямляется взведённая тетива. Один из тянувших, молодой казак по имени Прохор — тот самый, что накануне говорил про неправильное эхо, — не успел отскочить. Каток ударил его под колени, он упал под самый струг, а тот, потеряв опору с одной стороны, дёрнулся и придавил его правым бортом.

Крик было немного — люди навалились сразу, оттаскивая Прохора в сторону. Но помочь уже было нечем: грудь ему смяло так, что он не прожил и четверти часа, хотя в сознании оставался почти до конца, и последнее, что успел сказать, было не про боль и не про Бога — про эхо.

— Оно Меня звало, — прошептал он, глядя в небо мимо склонившихся над ним лиц. — Вчера... Я думал — шутка... а оно звало...

Больше не сказал ничего. Отпели его наскоро, там же, на перевале, — священник, приданный дружине Строгановыми, читал молитву быстро, поглядывая на небо, где собирались новые тучи, а казаки стояли молча, кто крестясь, кто просто опустил голову.

Хоронить решили тут же — тащить тело через оставшийся путь было и не по силам, и не по обычаю. Могилу вырубили в каменистой земле неглубоко. Ермак первым взял кирку: рук моложе и крепче в отряде хватало, но дружина должна была увидеть, что атаман хоронит своего человека своими же руками, а не глядит со стороны, — и лишь после третьего удара передал кирку дальше, по кругу, так что к концу над могилой успел потрудиться едва ли не каждый десятый в отряде. Когда яму обложили камнями сверху, чтобы звери не тронули, Ермак снял шапку последним, после всех, — и постоял так, простоволосый, дольше, чем требовала молитва, пока священник уже закрывал молитвослов.

Вечером у костра разговор шёл негромкий, урывками.

— Не эхо его звало, — сказал кто-то из старших. — Каток сорвался, вот и вся причина. Такое на всяком волоке бывает, не впервой.

— А что он про эхо сказал перед смертью? — спросил молодой, тот же, что накануне первым заговорил о странном отклике скал.

— Мало ли что человек в последний час скажет. Мне вон дед сказывал, помирающий и чёрта помянуть может, и матушку родную — оттого ли, что видит их, или оттого, что ум мешается.

Богдан Брызга в тот вечер молчал дольше обычного, глядя в огонь без своей всегдашней охоты рассказывать. Наконец сказал — тихо, будто самому себе, и не так складно, как обычно, будто мысль давалась ему сейчас труднее, чем прежние байки у костра:

— Земля тут... не сама по себе бревно кидает, нет. А вот как — не скажу. Бабка моя иначе как-то объясняла, я уж и не упомяну толком. Знаю одно: кого метит — тот наперёд что-то слышит. А остальное — забыл, много лет прошло.

— Твоя бабка, Богдан, много чего говорила, — отозвался Иван Кольцо без обычной насмешки в голосе — устало, будто спорить сегодня не было сил. — Может, права была через раз. А может, и вовсе не права, только слова красивые оставила.

Ермак в этот разговор не вступал. Сидел у своего костра поодаль, вспоминая женщину в тумане — не искал связи между ней и гибелью Прохора, но не мог теперь отделаться от ощущения, что оба случая произошли на одной и той же земле, в одну и ту же ночь, и что земля эта, кем бы ни была та фигура у родника, уже как-то отметила их приход. Не наказанием — просто вниманием, каким смотрит хозяин на вошедшего без спросу гостя, ещё не решив, прогнать его или впустить.

Наутро выступили дальше, без Прохора, без долгих слов — только могила осталась на перевале, обложенная серым нетёсаным камнем, одна из тех, что не попадёт ни в одну летопись, ни в одну грамоту. Дождь к полудню смыл со свежей земли последние следы кирки, и уже через день никто из проходящих мимо не отличил бы её от соседних камней — разве что тот, кто знал бы, куда смотреть.

На третьем переходе после того утра один из молодых казаков, налегая на канат рядом с пустым местом в связке, окликнул привычно, не подумав:

— Прохор, подсоби с той стороны!

Никто не отозвался. Он понял свою ошибку раньше, чем договорил последнее слово, и замолчал так резко, что двое рядом обернулись, — но ничего не сказали, только перехватили канат покрепче, и связка пошла дальше, теперь уже молча, без обычных в такой работе переключек.

Спуск с хребта дался легче подъёма, но выигранное время тут же съедали холода: с каждым днём вода в утренних лужах у костров подергивалась ледком чуть дольше, чем накануне, а дыхание вырывалось паром уже не только по ночам. К тому времени, как струги вышли на первую настоящую воду по эту сторону Урала — узкую, каменистую поначалу реку, которую местные, у кого удавалось спросить, звали Жеравлёй, — стало ясно и без слов есаулов: до ледостава спускаться дальше было бы безумием.

Ермак велел искать место для стана — не короткой стоянки, а такого, где можно пересидеть всю зиму. Выбрали высокий берег у излучины, где лес подступал достаточно близко для рубки, но не настолько, чтобы стан оказался в западне. Острожек ставили хоть и наспех, но на совесть: тын¹⁵ из срубленных стволов, три низкие избы-полуземлянки, амбар для припасов — того, что осталось после Строгановых, и того, что удалось выменять или взять у окрестных вогульских стойбищ, не всегда по доброй воле.

Первое время местные держались настороженно, издали. Потом настороженность обернулась стычкой: небольшой отряд вогулов¹⁶, числом не больше десятка, попытался ночью

¹⁵ Частокол, ограда из заострённых брёвен или кольев.

¹⁶ Историческое русское название манси — коренного народа Западной Сибири.

отбить обоз с рухлядью, оставленный без должного присмотра, — казаки отбились без потерь с обеих сторон, кроме одной стрелы, засевшей в плече у молодого казака, но с того дня часовых у амбаров и стругов стали ставить вдвое больше прежнего, а Ермак впервые за поход велел выставлять дозор и в глубь леса, а не только к реке.

Зима тянулась долго. Хлеб быстро подошёл к концу, выручала охота да мороженная рыба, которую меняли у тех же вогулов на железо и бисер — вражда враждой, а торг торгом, как заметил однажды Богдан Брызга, отогревая у костра застывшие пальцы. Кто-то из казаков захворал и не встал; кто-то за зиму сдружился с местными настолько, что к концу стужи в стане уже понимали по-вогульски десяток-другой самых нужных слов.

О женщине в тумане Ермак за эту зиму не рассказывал никому, но по ночам, когда острожек затихал, подолгу сидел у входа в свою землянку, глядя туда, где река терялась во тьме подо льдом, — и один раз, ближе к самой весне, ему почудилось на миг то же самое присутствие, что и тогда на перевале: не пугающее, просто внимательное, как хозяин, привыкающий к новому жильцу в своём доме.

Лёд тронулся раньше, чем ждали. В один из дней, когда с реки вдруг потянуло не морозной свежестью, а сырым, тяжёлым духом оттаявшей земли, дозорный прибежал в стан с новостью, которую все ждали месяцами, — вода пошла. Через неделю, когда ледоход схлынул и русло очистилось настолько, что можно было спускать струги, дружина покинула зимний острожек, оставив на память о себе лишь свежие пни да могилы тех, кто не дожил до тепла, — и двинулась дальше, вниз по Жеравле, а после через Баранчу — к Туре, туда, где, по словам немногих охотников, встреченных за зиму, начиналась настоящая большая река.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КАМЕННЫЙ ПОЯС

Глава шестая

Река открылась не сразу — сперва донёсся её запах, влажный, илистый, совсем не похожий на холодную свежесть горных ручьёв, — а после, за последним перевалом, блеснула и сама, широкая, неспешная, выюющаяся меж пологих, поросших лесом берегов. Тура. Первая большая вода по эту сторону хребта.

* **

Ванхо увидел чужие струги раньше, чем чужие струги увидели его.

Он сидел на высоком берегу с самого рассвета — не по делу, просто удобное место было, откуда далеко видать и рыбу в заводи, и тропу, что вела вдоль воды к соседнему стойбищу, — и когда вдалеке, там, где река делала излучину, показались первые лодки, не стал прятаться и не бросился бежать с вестью. Посидел ещё немного, доедая вяленую рыбу, и только потом, не торопясь, поднялся и пошёл своим шагом — туда, откуда лучше всего было разглядеть, кто плывёт и зачем.

Русских он видел не впервые. Бывали здесь и раньше — торговые люди, реже воинские, все одинаково громкие, одинаково удивлённые тем, что земля, на которую они ступают с таким шумом, вообще-то давно обжита и вовсе не молчит в ответ на их удивление. Но таких, как эти, — с пушками на стругах, и не на одной, и не на двух, — Ванхо ещё не видел.

«Ну вот, — подумал он без особого страха, скорее с той усталой насмешкой, с какой смотрят на дурака, в третий раз наступающего в одну и ту же яму, — теперь этой земле новую глупость терпеть».

Он спустился к самой воде, когда передний струг подошёл достаточно близко, и остался стоять на виду — не прячась, но и не выходя навстречу с распростёртыми объятиями. Пусть сами решают, кто он: враг, друг или просто человек, у которого хватило ума не бежать.

На носу переднего струга стоял человек в летах, с лицом, знавшим больше солнца, чем сна, — по всему видно, старший. Он первым поднял руку, не оружием, ладонью — знак, понятный без толмача.

Ванхо не стал отвечать тем же. Вместо этого сложил руки рупором и крикнул на своём языке, зная, что не поймут, — просто чтобы услышать, как прозвучит первое слово между ними:

— Далеко ли плыть собрались, гости? Али так и будете воду веслами месить, пока хан сам вас не встретит?

Никто, разумеется, не понял. Струг ткнулся носом в берег неподалёку, и старший спрыгнул на песок первым — тяжело, но крепко, как спрыгивает человек, привыкший, что земля под ногами не всегда держит ровно.

— Мы с миром, — сказал он громко, показывая пустые руки, и Ванхо, хоть и не разобрал слов, разобрал жест — этот жест был понятен на любом языке, придуманном людьми, которые всё-таки надеются, что им поверят.

Ванхо усмехнулся — про себя, не показывая виду.

«С миром, — подумал он. — Все так говорят, пока не увидят, сколько у соседа беличьих шкур в амбаре».

Вслух же, коверкая русские слова так, что выходило и смешно, и понятно — этому он выучился у прежних торговых людей, — сказал:

— Мир — хорошо. Мир — я люблю. А то жена у меня третий год ругается, что я всё воюю да воюю, покоя дома не видит.

Старший — тот, кого свои называли, как разобрал позже Ванхо, Ермаком, — на миг замер, не ожидав, видно, что чужак ответит шуткой раньше, чем угрозой. А после усмехнулся сам, коротко, одними губами, но по-настоящему.

— Жена у тебя, стало быть, разумнее тебя, — сказал он.

— Про то она мне каждый вечер и твердит, — согласился Ванхо. — Только слушать её труднее, чем воевать. Воевать — оно понятно: враг вон там, я вот здесь. А жена — она везде.

Позади атамана кто-то из молодых казаков хохотнул, не сдержавшись, и напряжение, повисшее было над берегом с той минуты, как струги ткнулись в песок, немного отпустило — не ушло совсем, но перестало давить так, как давило первую четверть часа.

Ванхо смотрел на них — на пушки, укрытые рогожей, на порох в бочонках, на усталые, обветренные лица людей, прошедших через хребет, — и думал не о том, друзья они или враги. Он давно уже не делил чужаков на эти две мерки, слишком много видел и тех, и других, оборачивавшихся друг другом в течение одной весны. Он думал о другом: сколько правды в шутке, которую он только что отпустил, — и что земля, на которой он стоит всю жизнь, никогда прежде не видела разом столько чужого железа, сколько привезли эти люди на своих просмоленных лодках.

«Ну что ж, — подумал он, — веселее будет, чем прошлой зимой. Хоть посмеюсь напоследок, если уж не повезёт».

Он ещё раз обвёл взглядом струги — рогожу на пушках, бочонки пороха, осунувшиеся лица людей, которых хребет вымотал больше, чем они сами готовы были признать, — и только после этого, будто взвесив что-то про себя в последний раз, решился.

Вслух он этого не сказал. Вместо того махнул рукой в сторону тропы, ведущей к его стойбищу, и произнёс единственное слово, какое счёл нужным сказать чужакам в первый час знакомства:

— Идёмте. Покормлю. Голодный гость — злой гость, а мне лишних врагов на реке не надобно.

И повел их к очагу на отшибе стойбища, где по обычаю его рода принимали чужаков, — там, где посторонний огонь не тревожил тех, кто оставался в своих жилищах.

Вечером того же дня, когда чужаки, накормленные и отогревшиеся у его очага, уже разбили свой лагерь чуть выше по берегу, Ванхо вернулся в юрту, где жена, не спрашивая ни о чём, молча подала ему миску. Он сел, подержал её в руках, не притрагиваясь к еде, и сказал только то, что счёл нужным сказать в этот вечер:

— Русские пришли.

Больше не добавил ничего. Жена посмотрела на него долгим взглядом, тоже ничего не спросив, и в юрте до самой темноты не было слышно других слов — только треск очага, да где-то далеко, у нового чужого лагеря, изредка долетал через воду негромкий, незнакомый смех.

Глава седьмая

От устья Туры, где Ванхо накормил их вяленой рыбой и ушёл своей дорогой, не обещав ни помощи, ни вреда, дружина шла вниз по течению уже пятый день, и река эта была не похожа ни на Каму, ни на горные ручьи Урала — широкая, ленивая, с берегами, поросшими ивняком так густо, что временами струги шли будто по зелёному коридору, и небо виднелось только узкой полосой над головой.

Люди менялись постепенно, день за днём, так что сам Ермак заметил перемену только однажды вечером, оглянувшись на костры, растянувшиеся вдоль берега, и подумав: месяц назад это было не то же самое войско.

Молодые, что месяц назад хвастались друг перед другом, кто больше татар положит, теперь чаще молчали, налегая на вёсла, — тем особым, недобрым спокойствием, какое приходит к человеку, когда страх, пережитый однажды по-настоящему, перестаёт быть игрой. Прохора вслух почти не поминали, но каждый вечер кто-нибудь, укладываясь спать, невольно косился в сторону оставшегося за хребтом перевала, будто могила могла дотянуться до них и здесь, на воде.

Иван Кольцо переменялся заметнее прочих. С Ермаком он теперь говорил меньше вопросами и больше делом: сам вызвался идти в головном дозоре, сам считал припасы по вечерам, хотя раньше этим занимался есаул попроще. Ермак угадывал в этом перемену более простую, чем страх или желание выслужиться: человек, всю жизнь смотревший на мир с усмешкой, вдруг начал смотреть на него внимательнее, будто усмешка стала роскошью, которую здесь, за хребтом, он больше не мог себе позволить так же легко, как прежде.

Богдан Брызга, напротив, сделался словоохотливее. Каждый вечер у его костра теперь собиралось больше слушателей, чем в начале похода, — и дело было не в самих байках: после Прохора люди, прежде посмеивавшиеся над его снами, вдруг захотели услышать что-нибудь, что объясняло бы мир, в котором каток может сорваться не просто так.

— Земля здесь злее, чем на Каме, — говорил он в один из таких вечеров, помешивая палкой угли. — Оттого что мы на ней чужие вдвойне: и телом чужие, и памятью. У себя дома человек и мёртвый своим остаётся — земля его помнит, он её помнит. А здесь мы никто. Оттого и цепляется она к первому, кто оступится.

— А может, просто камни здесь другие, — вставил Иван, но без прежней насмешки, скорее устало, будто повторял довод по привычке, а не по убеждению.

Ермак стал больше прислушиваться к таким разговорам, но виду не показывал. Он и сам, идя вечерами вдоль берега проверять костры, ловил себя на том, что взгляд его теперь задерживается на воде дольше, чем прежде. Женщину из тумана он здесь, на равнинной реке, увидеть не чаял — просто с того вечера на перевале в нём осталась привычка смотреть на воду так, будто она тоже смотрит в ответ.

На шестой день пути, дозорные, посланные вперёд, вернулись к полудню бегом, без лошадей, — и по одному их виду Ермак понял раньше слов, что дело плохо.

— Татары, атаман. Многие. У излучины, где мы вчера костры видели дальние, — теперь там конницы полно, и не таятся уже.

Ермак остановил колонну коротким взмахом руки — знак, давно условленный, не требовавший крика. Струги сбились ближе к берегу, там, где ивняк давал хоть какое-то укрытие, и он выслал ещё двоих проверить, действительно ли враг ждёт впереди или просто прошёл стороной.

Ждать пришлось недолго. Ещё до того, как вторые дозорные вернулись, с берега, скрытого излучиной, донёсся протяжный, высокий крик, больше похожий на сигнал, каким перекликаются в лесу охотники, чем на боевой клич, — и следом, один за другим, засвистели первые стрелы, падая в воду далеко от бортов, но достаточно близко, чтобы дружина поняла: их заметили, и заметили давно.

— Князь Епанчи это, — сказал один из казаков, бывавших здесь прежде торговым путём. — Земли его, до самого Тобола почти.

Ермак не стал ждать, пока стрелы найдут цель ближе. Скомандовал разворачивать пушки, что стояли на двух передних стругах, — дело небыстрое, но привычное после долгих недель учения ещё у Орла-городка, — и в то же время велел казакам с пищальми укрыться за бортами, готовя фитили.

Первая пушка развернулась споро — расчёт у неё подобрался слаженный ещё с зимы. Со второй вышла заминка: лафет¹⁷ зацепился за скобу, которой крепили борт, и пушкарь¹⁸, немолодой уже казак по прозвищу Кривой Сазан — за то, что левый глаз у него после старой раны глядел вечно немного вбок, — рвал крепление голыми руками, костеря её сквозь зубы так, что стоявшие рядом старались не смотреть в его сторону, лишь бы не сбить с толку. Стрелы к этому времени падали уже ближе — одна воткнулась в борт на ладонь от его локтя, — и на те несколько ударов сердца, за которые лафет наконец подался, Ермаку показалось, что вся река сузилась до одной этой скобы, не желавшей отпустить пушку.

Конница татар показалась на высоком берегу, откуда стрелки могли бить прицельно вниз, на воду, — десятки всадников, а следом, за первой волной, ещё и ещё, разворачивавшихся широким полукругом вдоль обрыва. Их было много — куда больше, чем Ермак ждал от одного удельного князька.

— Не подпускай к берегу борта! — крикнул он рулевым, и струги, повинувшись, стали разворачиваться так, чтобы держаться середины реки, вне досягаемости самых метких стрел.

Первый пушечный залп ударил раньше, чем татарская конница успела спуститься к самой воде, — грохот раскатился над рекой так, что с ближних деревьев поднялась испуганная птица, а следом за грохотом на береговом откосе взметнулась земля пополам с дымом. Кони шарахнулись, ломая строй, — не столько от урона, сколько от самого звука, невиданного здесь прежде. Кривой Сазан, отскочивший от своей пушки после выстрела, только теперь заметил, что ладони у него в кровь ободраны о скобу, — и, не разгибаясь, полез заряжать снова, ругаясь — но теперь в его голосе слышалось уже не столько злость, сколько мрачное удовлетворение человека, у которого всё-таки получилось.

Пищали заговорили следом, вразнобой, но часто — казаки били по всадникам, не успевшим ещё опомниться после пушечного грома, и с каждым залпом строй на берегу редел не столько числом, сколько порядком: татарская конница, привыкшая к бою на открытой степи, здесь, на узкой полосе между обрывом и рекой, теснилась, мешая друг другу, теряя тот простор, в котором её стрелы и сабли решали дело быстро и без осечек.

¹⁷ Основание или станок, на котором устанавливалось артиллерийское орудие.

¹⁸ Воин, обслуживавший пушку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.